



А. НАУМОВ. Дуэль Пушкина с Дантесом.

Стоит сказать, что в ходе всех событий доверие Пушкина к жене не падало, а росло, и они сближались все теснее. Жена без колебаний отвергает домогательства и искательность несостоявшегося любовника и все рассказывает мужу. «Случай, — написал позднее Пушкин Геккерну, повторяя почти точно ранний черновик, — который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете...»

«Остальным» стало то, что Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Бароны впали в панику. Еще бы: ведь с *ловлей счастья* и чинов было бы покончено. По признанию Геккерна, он увидел «все здание своих надежд разрушенным до основания». Нажимая на все педали, пускающая в ход все пружины, вовлекая и В. Жуковского, и Е. Загряжскую, и Г. Строганова, выпросили, выкупили, вымолили сначала сутки, а затем еще две недели отсрочки. Требовалось и спастись от поединка и сохранить лицо. Не исключена судорожная попытка Дантеса «подбиться» в женихи к княгине Бярятинской. Княжна охотно принимала ухаживания Дантеса. «Он, — записывает она в дневник осенью 1836 года, — забавляет меня (ср. слова Натальи Николаевны Пушкиной — «мне с ним весело»), вот и все». Но что касается женитьбы, то «...я чувствовала бы себя несчастнейшим существом, если бы должна была выйти за него замуж <...> И татапа узнала через Тр-убецкую», что его отвергла г-жа Пушкина. Может быть, поэтому он и хочет жениться».

И тогда делается ход-розыгрыш, неожиданный и повергший многих в недоумение. Розыгрывается версия, согласно которой Дантес был «влюблен» не в Наталью Николаевну, а в сестру — Екатерину Николаевну.

«Барон Геккерн, — должен был объясниться по всей этой истории с Бенкендорфом Пушкин, — приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.

Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе (так Пушкин бросает великодушный кусок, чтобы брак с его свояченицей не выглядел как совершающийся прямо под дулом пистолета. — Н.С.), я поручил просить г-на д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места».

В течение двух недель Пушкин, как на корде, время от времени пощелкивая бичом, гонял плутоватых баронов (ведь могли вывернуться и надуть) и, лишь когда вопрос был решен бесповоротно и Дантес отправился на заклание, взял вызов обратно. Вяземский позднее писал, что «Дантес решился на этот отчаянный поступок — лишь бы избавиться от поединка».

Окончание. Начало в номерах от 14 и 21 августа.

Николай СКАТОВ

ПАЛ, ОКЛЕВЕТАННЫЙ...

КАК ПОГИБ ПУШКИН

В результате бароны были буквально размазаны. Дантес разыгрывал уже пушкинский сценарий: «Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то смущение (именно так и более точно наши исследователи И.Ободовская и М.Деметьев переводят французское слово «emotion», всегда — и не в пользу Натальи Николаевны — переводившееся как «чувство». — Н.С.), которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отращении вполне заслуженном».

Подведя итоги всей этой истории в наброске первого письма Геккерну, Пушкин удовлетворенно констатировал: «Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам».

Пунктом, в котором Дантесы были побиты, стал и отказ от дома, и, когда они уже по-родственному приехали к Пушкиным, их не приняли. Так закончилась дуэльная история номер один. Из всего этого не следует, что Пушкин все забыл, а бароны и все, кто стоял за ними, не ждали отмщения и реванша.

О новой же дуэли, конечно, никто не думал, никто ее не ожидал и никто ее не хотел.

Не хотели Геккерны: они очень боялись нарушить все планы своего карьерного жизнеустройства.

Не хотел Пушкин: «Дуэли мне уже недостаточно» — это он неоднократно писал и говорил уже при самом начале дела, думая об общественном возмездии.

Не хотел царь: он прекрасно понимал, что значит Пушкин для государства российского и даже принял экстраординарные меры.

Но именно царские меры и сыграли во многом роковую и даже провоцирующую роль.

Еще после первого ноябрьского дуэльного случая Пушкин был по представлению обеспокоенного Бенкендорфа принят обеспокоенным Николаем, и царь взял с поэта слово ни под каким видом не ввязываться в новую дуэль.

Вот после этого-то явно прозавшиевшие — хотя бы через ту же Екатерину Николаевну — дело бароны, как и вся стоявшая за ними камарилья, почувствовав безнаказанность, и распустились. Последовали новые, уже совершенно наглые «приставания». А ведь в сущности, как полагают Пушкин, было принято что-то вроде договора, предполагавшего определенную сдержанность при отсутствии каких бы то ни было сношений и отношений между Геккернами и Пушкинами:

«Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение».

Нужно понять, что гнев и бешенство Пушкина — и раньше, и позднее — вызывала не ревность, а та бездна бесстыдства, пошлости и подлости, в которой теперь так уверенно парили бароны, окруженные многочисленными своими ангелами-хранителями, почти демоническими врагами поэта; впрочем, близости и в тех же потоках планировали и его друзья — тот же Вяземский, Карамзины — с их домом как местом общих встреч. Вяземская-то Дантеса за его поведение все же из дома выставила.

В общем, как написал позднее другой поэт: «Что враги, пусть клеветуют язвительней, я пощады у них не прошу...» Пушкин не просил пощады у врагов. Однако пришлось испытывать, опять-таки говоря стихом, не только «ложь врагов», но и «клевету друзей». Не расчет ли тому-то психологов проявился в том, что известную анонимку разослали совсем не врагам, а друзьям?

Друзья ничего не понимали или не хотели понимать. По сообщению С.Н. Карамзиной, «дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвергает его от дома Пушкиных», а сама София Карамзина называет всю ситуацию «сентиментальной комедией». Уже потом, уже ни к чему, придет *жалкий лепет оправдания*. Пушкин, скажет Вяземский, был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаться и прошу прощения у его памяти».

«Я, — скажет Александр Карамзин о Дантесе, — краснею теперь оттого, что был с ним в дружбе <...>, он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоутверженные высокие слова там, где была лишь гнусная интрига <...>, я поверил... всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности».

Наконец, совершенно обнаглевший в условиях стопроцентной, как он верил, застрахованности Дантес позволил себе совершенно хамскую выходку по отношению к жене Пушкина. К существу, в уважении и почитании которого он так распинался (мы помним) в письмах к «отцу». «Я не могу позволить, — заявил Пушкин в последнем письме Геккерну, — чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться

к вам просить положить конец всем этим проищам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не останусь».

Когда Пушкин писал и говорил, что дуэли ему недостаточно, то имел в виду именно публичное разоблачение мерзавцев, обращение к обществу. Но для этого нужно, так сказать, наличие общества. Ведь это осенью того же 1836 года в письме к Чаадаеву Пушкин писал: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние». Это не просто публицистический пассаж, это — лично и о себе — той осенью 1836 года. Позднее Щедрин скажет, что в Петербурге есть не нравы, а есть отсутствие нравов. Пушкин пытался обратиться к *нравам*, а Геккерн и К^о рассчитывали на их *отсутствие*. И в этом-то преуспели. Отсутствие нравов про-

костивие: известно, как Пушкин до конца работал, как спокойно и весело он собирался. Да и дело было привычное — далеко не в первый раз. Характерны фразы, появляющиеся у Пушкина при еще первых ноябрьских обсуждениях дуэльных вопросов: типа, «по нашим, по русским обычаям, этого достаточно», «чем кровавее, тем лучше» и т.п.

С самого начала Пушкин настаивал на русской дуэли. Соллогуб передавал слова Пушкина Д'Аршиаку: «Вы французы, вы очень любезны. Все вы знаете латынь, но когда вы стреляетесь, вы становитесь в 30 шагах. У нас, русских, иначе; чем меньше объяснений, тем лучше».

Французская дуэль — 30 шагов. Русская — в два, а то и в десять раз меньше.

Дуэль была не совсем дуэлью равных. На место, на котором должен был бы стоять Геккерн-старший, был поставлен Геккерн-Дантес — не трус, но некудышный офицер — разгильдяй (44 взыскания за 3 года), впервые оказавшийся у барьера. Может быть, потому и сорвавшийся на первый выстрел. С другой стороны был опытный, ле-

демонстрировали и друзья, и враги: Уваровы, но и Карамзины, Несельероде, но и Вяземские. Действительно, «восстал он против мнений света Один, как прежде...».

Пушкин совсем не искал смерти, как об этом часто писали и пишут. Скорее — наоборот. Сознание опасности, необходимости противостояния, «упоение в бою» рождало обычно у него взрыв энергии, — и творческой прежде всего. Может быть, за исключением Болдина 1830 года, у Пушкина еще не было столь плодотворной, столь разнообразной кипучей деятельности, как в 1836 году, особенно на фоне гораздо более вялого 1835 года. «Он только созрел», — приговор ближайшего окружения.

Возможно, трагический исход заставляет тщательно фиксировать в воспоминаниях и свидетельствах сообщения: «мрачен», «угрюм», «угнетен»: кстати, не часть ли геккерновской легенды: «мрачен и мститель». Но есть много других, этого же времени: «радожен», «весел», «смеется». К. Брюллов, сообщая, как поэт тогда хохотал, замечает: «Счастливец Пушкин». Отсюда и довольно быстрая и мирная разрешаемость других предполагавшихся в ту пору поединков. Не то с Геккерном и К^о. Этот поединок был резко отличен от всех других пушкинских поединков. В возможном тогда же поединке с князем Репниным (такой назрел) — он готов был защищать только свою личную честь. В предполагавшейся чуть раньше дуэли с Соллогубом (она отменилась — Соллогуб извинился) он готов был защищать честь жены.

На поединок с Геккерном он выходил и за *честь страны* как ее главный представитель. Если угодно, помимо света и через его голову. Его волновало, что думает обо всем этом страна. Позднее Вяземский рассказывал, что в разговоре с Вревской «должно быть, он расспрашивал, что говорят в провинции об его истории и, верно, вести были для него неблагоприятные». Пушкин уже написал стихи: «слух обо мне пройдет по всей Руси великой». И, конечно, такой «слух» не мог быть запятнан никакими другими.

Совсем незадолго до последней дуэли Пушкин сказал С.Н. Карамзиной: «Мне нужно сил, чтобы моя репутация и моя честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно».

Он не хотел дуэли. Дуэль спровоцировали страшно ее боявшиеся и не хотевшие ее Геккерны, а подтолкнула к ней наша общественная жизнь.

Только после того, как в поединке Пушкин увидел последний и единственный выход, он через него и пошел. Беспокойство и тревога появились только тогда, когда возникла угроза, что дуэль сорвется. Когда все решилось — пришло спо-

кояного спокойствия боец, прекрасный фехтовальщик, отличный стрелок. Возможно, в любом случае — как опытный дуэлянт, дождавшийся бы первого нервного выстрела противника и получивший уже верный, стопроцентный — свой. Бог не судил. Даже, как оказалось, *смертельно* раненный Пушкин *стрелял точно*. Бог рассудил иначе.

Для обоих Геккернов — в России, во всяком случае, — с «ловлей счастья и чинов» было покончено. Убийство Пушкина дало царю Николаю возможность удовлетворить давнюю нелюбовь к нидерландскому дипломату: отъезжавший из страны посланник даже не был принят государем, что означало, как говорится, невозможность возвращения в страну пребывания.

Последовали и юридические санкции. Одним они представились страшной карой: подумайте, убийство защищавшимся молодым человеком вздорного сочинителя и — марш разжалованным в солдаты из страны в простой телеге под присмотром жандарма. Так, под видом служебной солидарности демонстрировала профессиональный идиотизм кавалергардская жеребятина. Другим такие меры показались даже и не наказанием: еще бы — национальная катастрофа, каковой и была гибель Пушкина — и, в сущности, легкий шлепок: увольнение со службы и даже не ссылка в чужбину, а высылка на родину.

Почти сразу в воздухе повисло — *месь!*

Первым произнес заветное слово почти моментально ставший великим русский национальный поэт: «жажда мести».

Впрочем, готов был образоваться и мстящий интернационал. Распространился не верный, но характерный слух, что поединка с Дантесом ищет великий поэт Польши Мицкевич. А в поэтическом Тифлисе бужевали кавказские страсти — с обещанием зарезать Дантеса как собаку.

Но уже тогда осознавалось и другое: что в таком деле, может быть, людского-то суда, каким бы он ни стал, и быть не может. Что здесь все меряется иными мерами, что это считается *особым* счетом.

Уже тогда П.А. Вяземский записал, что это дело «надо отдать на суд Божий, а не людской». А Лермонтов уже тогда уверенно пророчил:

Но есть, есть Божий суд...
Есть грозный судия. Он ждет...

Не Божий ли суд грозного судии через много лет настаивает благополучного «карьерного» Дантеса?

...Одаренная редким чутьем и чувством французская девушка учит русский язык. И прочитает Пушкина. И преклонится перед поэтом. И возненавидит отца. И бросит ему страшные слова обвинения. И сойдет с ума: Леония-Шарлотта, дочь Жоржа Дантеса.